



В. Тендряков

МЕДНЫЙ КРЕСТИК

**АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1975**

*Печатается по изданию:
В. Тендряков. Медный крестик.
Государственное издательство детской литературы
Министерства просвещения РСФСР, Москва, 1963*

Тендряков В. Ф.

Т 33 Медный крестик. Барнаул, Алт. кн. изд., 1975.

32 с.

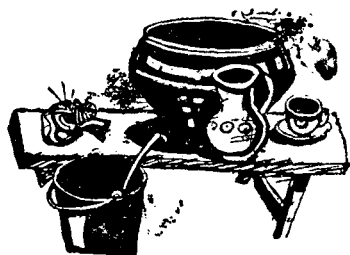
Двенадцать лет исполнилось Родиону Гуляеву. Но никогда еще не переживал он таких горьких, тяжелых минут. Все беды посыпались на Родьку с того дня, как только нашел он под берегом реки старую икону. Богомольные старухи объявили икону чудотворной, а его — пионера Гуляева — божьим избранником, праведником. Насильно молиться заставляли, не пускали в школу.

До сих пор весь мир для Родьки делился на три части: дом, улицу, школу. И везде он чувствовал себя легко и свободно. А теперь нет Родьке места в этом мире, некуда уйти, некому пожаловаться. Даже мать — не защитница.

За Родьку вступается учительница, Парасковья Петровна. Она делает все, чтобы вернуть мальчику детские игры и радости, счастье в семье, отстоять его будущее.

«Медный крестик» — отрывок из повести В. Тендрякова «Чудотворная».

Т $\frac{70302-059}{M138(03)-75} 57-75$



Утром Родька, как всегда, собирался в школу: завязал книги и тетрадки в старый мамкин платок, надел пионерский галстук и, долго сжюнявя ладони, разглаживал мятые концы на груди (вчера после школы весь день таскал его скомканным в кармане), потом метнулся к столу:

— Давай, бабушка, есть. Не то опоздаю.

Бабка, вместо того чтобы проворчать обычное: «Успеешь еще натрескаться...» — разогнулась у печки, ушла за переборку, быстро вернулась, пряча что-то в вытянутом кулаке.

— Ну-ко, дитятко... — позвала она.

Родька с подозрением покосился на ее осторожно сжатый, словно державший в себе горсть живых тараканов, кулак.

— Вот, одень, золотце, на доброе здоровье. Хватит уж нехристом-то бегать.

Перед Родькиным носом закачался на толстой шелковой нитке маленький медный крестик. Родька с минуту отупело моргал, потом залился краской от шеи до кончиков ушей, втянул голову в плечи:

— Еще чего выдумала! На кой мне...

— Нельзя, родненький, ты теперь у бога на примете. Не мне, небось, не бабке Жеребихе чудотворная-то открылась, и не выдумывай, ягодка, господа-то гневить непослушанием. Ну-кося, на тебя с молитвою...

Родька еще больше съезжился, отступил назад:

— Не одену!

— Экой-ты... — Бабка протянула руку. (Родька отскочил, светлые с грачихинской желтизной глаза блеснули затравленно). — Ну, чего козлом прыгаешь?

— Умру — не одену! Ребята узнают — начисто засмеют.

— Чего ради хвалиться-то тебе перед ними? Каждый всяк по себе живет, всяк свою душу спасает. Храни себе потаенно и радуйся.

Вошла мать в туго повязанном платке, старые сапоги забрызганы грязью — видно, только что с бороньбы или от парников, вся розовая от быстрой ходьбы по славному утреннему холодку, в прищуре глаз под белесой занавесочкой ресниц — доброта.

— Опять с бабушкой не поладил?

Родька бросился к ней:

— Мам, скажи, чтоб не одевала! На кой мне крест? Что я, старуха?... Узнают вот в школе...

Мать нерешительно отвела глаза от бабки:

— А может, и вправду не одевать? Сама знаешь — в школе не похвалят.

Бабка разогнулась, подобрала губы, сжала в коричневый кулак крестик.

— Оберегаешь все! Ты ему душу обереги. Гнев-то божий пострашнее, чем учительша вымочку даст.



— Не гневался же, мать, господь на него до сих пор. Даже милостью своей отметил.

— Ой, Варька подумай — милость эта не осторожение ли? Пока Родька ходил без отлички, ему все прощалось. А ныне просто срам парню креста на шее не носить.

Мать сдавалась:

— Право, не знаю. Какой спрос с малого да несмышленного?

— Для господа, что мал, что стар — все ровни, все одинаково рабы божьи. Вот свалится беда, запоешь тогда по-другому, вспомнишь, что сущую безделицу для бога отказала. Да и что толковать-то! Крест на шею сыну повесить совестно!

И мать сдалась:

— Надень, Роденька, крестик, будь умницей.

— Сказал — не одену!

— Вот бог-то увидит твое упрямство.

— Плевал я на бога вашего! Знал бы, так эту икону и вырывать из земли не стал, я бы ее в речку бросил!

— Окстись! Окстись, поганец! — зыкнула бабка. — Типун тебе на язык! Вот оно, Варька, по-таканье-то...

На щеках матери выступили лиловые пятна, широко расставленные глаза сузились в щелки, руки поднялись к груди, быстро перебрали пальцами все пуговицы на старенькой кофте.

— Добром тебя просят. Ну!... Мать, дай-ко мне крест. Я-то надену на неслуха.

— Нет, пусть он себя крестным знаменем осенит! Нет, пусть он у бога прощения попросит! Пусть-ко скажет сначала: «Прости, господи, мои прегрешения».

На стене под фотографиями в картонных рамочках висел старый солдатский ремень, остав-

шийся от отца. Мать сняла его с гвоздя, впиалась в Родьку прищуренными глазами, устрашающе переложив ремень из руки в руку:

— Слышал, что тебе старшие говорят?

Сжавшись, подняв плечи, выставив вперед белобрысые вихры, глядя исподлобья, как волчонок, настороженно блестящими глазами, Родька тихо пододвигался к двери, наворачивая на палец конец красного галстука:

— Прав... прав не имеете!

— Вот я скину штаны и распишу права...

— Верно, Варенька, верно. Ишь, умничек!..

— Вот я в школе скажу все...

— Пусть-ко сунутся — я учителям твоим глаза все powyцарапаю. Небось не ихнее дело... Кому говорят?!

— Верно, Варенька, верно.

Родька сжался сильнее, с ненавистью стреляя глазами то в бабу, то в мать, чуть приметно двинул плечом в сторону дверей.

— Скидывай сапоги! Ну, быстро!.. Ни в какую школу не пушу. Ну! — рука матери больно дернула за вихры. — Крестись, паценок!

— Скажу вот всем! Скажу!.. Ой!..

Удар ремня пришелся по плечу.

— Скидывай сапоги! Живо!.. Нету тебе школы! Нету тебе улицы! На замок запру!

Второй удар, третий... Родька отчаянно басом взревел, рванул к двери, но бабу с непривычной для нее резвостью перегородила дорогу, схватила за ухо:

— Ишь ты, лукавый! Нет, миленок, нет, встань-ко сюда.

У матери же было красное, расстроенное лицо, на глазах тоже слезы.

— И что за наказание такое? Вырос на мою го-



лову вражонок! Когда только я над тобой управу возьму? Долго будешь еще упрямитесь, мучитель мой?

Родька всхлипывал, вздрагивал телом, размазывал слезы рукавом чистой, надетой для школы рубахи. Его правое ухо пламенело, казалось тяжелым, как налитый кровью петушиный гребень.

— Оставь его, Варька, — заявила бабка. — Не хочет, как знает. А есть не получит и в школу не пойдет. Сказали тебе, скидывай сапоги!

Родька молчал, продолжая всхлипывать, упершись глазами в пол.

— Добром же тебя просят... О-о, господи! — с отчаянием воскликнула мать. — Просят же, просят! Долго ль торчать над тобой, идол ты, наказание бесово!

По-прежнему упершись в пол взглядом, Родька несмело поднял руку, дотронулся щепотью до лба и неумело перекрестился.

— Чего сказать надо?

— Прос... прости... госпо-ди...

— Только-то и просили.

— Когда лоб крестят, в пол не глядят, — сурово поправила бабка. — Ну-кося, на святую икону перекрестись. Еще раз, еще! Не бойсь, рука не отсохнет.

Родька поднял глаза на угол и увидел сквозь слезы сердитые белки, уставившиеся на него с темной доски.

А на улице с огородов пахло вскопанной землей. Солнце обливало просохшие тесовые крыши. Сквозь желтую прошлогоднюю траву пробились на свет нежные, казалось бы беспомощные, зеленые стрелки и сморщенные листочки.

Зрелая пора весны. Через неделю люди привык-

нут к припекающему солнышку, к яркой зелени, появится пыль на дорогах. Через неделю, через полторы от силы весна перевалит на лето... Сколько маленьких радостей сулит этот ясный день!

После уроков можно убежать в луга. Там от разлива остались озерца-ляжины с настоявшейся на прели водой, темной, как крепкий чай. Можно выловить матерую, перезимовавшую лягушку, привязать к ее лапке нитку, пустить в озерцо, глядя, как уходит она, обрадовавшаяся свободе, в глубь, во мрак непрозрачной воды, а потом взять да вытаскать обратно — шалишь, голубушка, ты теперь у нас работаешь водолазом, расскажи-ка, что видела в воде.

Можно достать пригоршней мутновато-прозрачную лягушечью икру, пересчитать черные точки-ядрышки, а каждое ядрышко — будущий головастик.

А лужицы помельче?.. А глубокие колесные колеи в низинках, залитые после половодья и еще не высохшие? В них гуляют попавшие в неволю крошечные серебристые голавлики, отливающие зеленью щурята, красноглазые сорожки — замути воду, и их легко можно поймать прямо руками.

И чем веселее день, тем тяжелее на душе у Родьки. Под рубашкой, под выцветшим пионерским галстуком жжет кожу на груди медный крестик. Сиди на уроках и помни, что ни у кого из ребят нет его. Играй на переменах, помни: если будешь возиться, чтоб не расстегнулась рубаша, увидят — засмеют... Вот он зудит сейчас, его надо прятать, как нехорошую болячку на теле. Пусть не увидят, пусть не узнают, но все равно чувствуешь себя каким-то нечистым. Наказание это! За что? За то, что вырыл проклятую икону. И кто знает, что завтра бабка с матерью выдумают?



На улице никого. Только у дома Васьки Орехова развалилась свинья, выставила на солнце розовые соски на широком брюхе...

Ежели снять этот крест да в карман. Бросить нельзя. После школы бабка уж обязательно заглянет под рубаху. Если не окажется креста, взбучку даст, хоть из дому беги.

В карман? А карманы неглубокие, легко может выпасть, а то и сам ненароком вытащишь вместе с ножиком или резинкой. Лучше всего в щель куда припрятать, а на обратном пути надеть, честь честью явиться перед бабкой.

Родька остановился, торопливо принялся расстегивать ворот под галстуком. Но из дома Ореховых вышел Васька, Родькин дружок. Под бумажным затертым пиджаком у него новая рубаха — яркая, канареечного цвета, с другой не спутаешь. Даже галстук, много раз стиранный, вылинявший, бледнее ее.

Васька окликнул:

— Эй Родька! Сколько времени сейчас? У нас ходики третий день стоят. В школу-то еще не опоздали?

Подошел, поздоровался за руку:

— Ты какую-то икону нашел? Старухи за это тебе кланяться будут. Право слово, мать говорила.

Родька, отвернувшись, лоя под галстуком непослушные пуговицы и пряча покрасневшее от стыда лицо, зло ответил:

— Ты слушай больше бабью брехню!

— Так ты не нашел икону? Врут, значит.

— Подумаешь, какая-то доска... Да что ты ко мне пристал? Вот дам в нос!..

— Но-но, ты не шибко! — На всякий случай Васька отодвинулся подальше.



Спорить с Родькой он боялся. Где уж, когда даже девчонки дают сдачи. Васька низкоросл, узкогруд, маленькие уши с постоянным напряжением торчат на стриженной голове; его подвижное лицо по сравнению с ярко-желтой рубахой кажется сейчас бледным до зелени. Зато он пронырлив, все всегда узнает первым. Весь в свою мать, недаром же тў прозвали по Гумнищам Клавкой Сорокой.

Обиженно сопя, Васька зашагал рядом и до самой школы не обронил ни слова.

О кресте Родька скоро забыл. На переменах устраивал «кучу малу», лазил на березку «щупать» галчиные яйца.

Но вот кончился последний урок, по школьному пустырю беспокойными стайками разлетались ребята в разные стороны. Родька снова вспомнил о кресте. Вспомнил, что надо идти домой, что бабка, прежде чем дать поесть, потребует: «Перекрести лоб». Васька Орехов, которому было по дороге, стал вдруг неприятен Родьке: «Опять начнет спрашивать об иконе, пропади она пропадом! Ему бы найти такое счастье».

...У Родькиного дома на втоптанном в землю крылечке сидели двое: маленькая, с острым лицом старушка, чем-то смахивающая на болотную птицу, и безногий мужик Киндя — мать и сын, известные и в Гумнищах, и в Гущине, и в районном центре Загарье.

Этот Киндя — Акиндин Поярков — до войны был самым неприметным парнем из деревни Троица. Работал бондарем при сельпо, незамысловато играл на трехрядке, орал «под кулак» песни, вламывался на пляски «бурлом». В войну где-то под

Орлом ему перебило обе ноги. Не один Киндя из Троицы вернулся с фронта калекой, но, кроме него, никто не бахвалился своей инвалидностью.

Часто, напившись пьяным, Киндя, сидя на култышках посреди загарьевского базара, рвал на груди рубаху, тряс кулаками, кричал:

— Для меня ныне законов нету! Могу украсть, могу ограбить — не засадят. Я человек неполноценный! Раздолье мне! Эй, вы! Кого убить? Кому пустить кровушку?

И, опираясь сильными руками на утюжки-подпорки, перекидывая обрубленное тело, бегал за народом, пугал женщин.

Его много раз, связанного, увозили в милицию, но дело до суда не доходило — жалели калеку. Киндя больше всех на свете боялся одного человека — свою мать, ветхую старушку. Были, говорят, случаи, когда та останавливала его буйство одним выкриком: «Отрекись, нечистый!»

Последнее время безногий Киндя вовсе утихомирился: пил по-прежнему, но не буянил, торговал из-под полы на базаре туфлями, отрезами, таскался вместе с матерью по церквям — то в щелкановскую, то в загарьевскую, то за шестьдесят километров — в соседний район, в Ухтомы.

Об этих делах безногого Кинди, как и все ребята, Родька был наслышан довольно подробно. Тем ужаснее ему показалось, что этот Киндя, красномордый, опухший, с рыжей, запущенной щетиной на тяжелом подбородке, мутными глазами и поднятыми выше ушей плечищами мужик, держась за ручки своих обшитых кожей утюжков-подпорок, стал молчаливо с размаху кланяться.

Старушка же с кряхтением поднялась, с натугой разогнулась, по-деревянному переставляя отекавшие от сидения ноги, двинулась к оторопевше-



му Родьке. У нее был острый нос, ввалившийся, почти без верхней губы рот углами вниз и голубенькие, по-молодому пронзительные, словно выскакивающие вперед лица глазки. Сморщенная, темная рука цепко схватила Родькину руку.

— Покажись-ка, покажись, любой. — Голос ее, шамкающий, был в то же время громок и скрипуч. — Да чего рвешься-то? Не укушу. Вот, значит, ты каков! Ой, не верю, не верю, что вторым Пантелеймоном-праведником будешь. Нету в твоих глазах благолепия. Ой, нету. В бабуку свою весь, а от грачихинской плоти неча ждать благости... — Она обернулась к своему кланяющемуся сыну: — Ну, хватит ветер лбом раздувать. Ишь, парень-то оробел от твоего дикого виду. Пусти, слышь.

Безногий Киндя покорно перевалился со ступенек на землю. Пока Родька, с испугом косясь, поднимался в дом, тот успел три раза с размаху поклониться, показав Родьке плешивевшую макушку.

Но и дома тоже сидели гости.

Согнутая, словно приготовившаяся сорваться с лавки, нырнуть в дверь, Жеребиха завела свою обычную песню:

— Личико что-то бледненько? Видать, напугали эти окаянные — ведьма троицкая со своим идолом обрубленным.

Кроме Жеребихи, Родька увидел еще двоих — Мякишева с женой. Сам Мякишев, кургузый, маленький, вокруг лысины золотой младенческий пушок, окропленное веселыми веснушками лицо кругло, вечно сияет виноватой улыбкой, как застенчивое зимнее солнышко. Он руководил гумнищинским сельпо, выступал на заседаниях. Жил около магазина, в большом пятистенке под зеленой железной крышей. За всю свою жизнь Мякишев ни-

кого, верно, не обозвал грубым словом, и все-таки многие его не любили. Председатель колхоза Иван Макарович, не скрываясь, обзывал: «Блудливая кошка. Стащит да поластится — глядишь, и с рук сходит».

Увидав у порога Родьку, Мякишев так радостно вытянул щею, что на минуту показалось — вот-вот выскочит из своего просторного с жеваными лацканами пиджака. Не только щеки — даже уши его двинулись от улыбки. Беременная жена Мякишева уставилась на Родьку выкаченными глазами, которые сразу же мокро заблестели.

— Экая ты, Катерина! — с досадой проговорила Родькина бабка. — Что толку волю слезам давать? Бог даст, все образуется. Родишь еще, как все бабы. Мало ли доктора ошибаются.

Заметив слезы у жены, Мякишев сконфуженно забормотал:

— В страхе живу, покоя не знаю. — Он с расстроенной улыбкой повернулся к Родьке. — Может, это счастье наше, что ты, миленький, чудотворную-то нашел.

Родька, напуганный разговором с безногим Киндей, сейчас затравленно озирался. С ума все походили? Даже Мякишев и тот к чудотворной пришел. Вдруг да тоже просить будет? Бежать, пока не поздно! А куда?.. Выручила бабка. Она поднялась из-за стола, спросила непривычно ласково:

— Проголодался, небось, внученька? Вот яишенку тебе сготовлю... Что-то матери твоей долго нету? Пора-то обеденная... Все в колхозе да в колхозе, от дому отбилась.

Пока бабка орудовала у шестка, жарила на нащепанной лучине яичницу, Родька, словно связанный, сидел у окна, косил глазом на улицу. Жена Мякишева тихо плакала, утирала слезы скомкан-



ным платочком. Сам же Мякишев с кисленькой, виноватой улыбкой просительным тенорком оправдывался:

— Я так считаю: оттого и непорядки в жизни, что люди от религии отступились. А без веры в душе никак нельзя жить.

— Истинно. Забыли бога, все забыли. По грехам нашим и напасти, — скромненько поддакивала со стороны Жеребиха.

— Вера-то нынче — вроде клейма какого. Меня взять в пример. Мне бы не днем полагалось прийти к вам, а ночью, потаенно, чтобы ни одна живая душа не видела. Человек я на примете, хоть и маленький, но руководитель... Вдруг да потянут, обсуждать начнут, косточки перетирать.

— Ничего, за бога и потерпеть можно, — отозвалась от шестка бабка.

— Так-то так, — не совсем уверенно согласился Мякишев. — Только чего зря нарываться. Уж прошу, добрые люди, лишка-то не треплите языком, что-де я сам жену-то приводил.

Заполнив избу аппетитным запахом, бабка с грохотом поставила на стол сковороду, пригласила Родьку:

— Садись, золотце, ешь на доброе здоровье! — и, повернувшись к гостям, стала расхваливать: — Он у нас не какой-нибудь неслух, чтоб лба не перекрестил, за стол не сядет. Помолись, чадушко, господу.

Бабка мельком скользнула взглядом. Родька лишь на секунду увидел ее желтые, в напряженно собравшихся морщинах глаза, но и этого было достаточно, чтоб понять: ослушаешься — век не будет прощения.

— Ну, чего мнешься, сокол? Садись за стол, коль просят. Ну... Садись да бога помни.

Правая рука Родьки, тяжелая, негнущаяся, с деревянным непослушанием поднялась ко лбу. За его спиной, громко всхлипнув, запричитала Мякишиха:

— Родненький мой, помолись за меня, грешницу! По гроб жизни благодарить буду!..

Родька съежился.

Никогда еще так не радовало синее небо, несмелый ветерок с лугов. Вырвался из дому, от бабки, от Жеребихи, от Мякишихи, от безногого Кинди — подалее от села! Нате вам всем, ищите ветра в поле!

За усадьбами запыхавшийся Родька пошел медленнее.

Теплый, рыжий весенний луг лежал под солнцем. Маслянисто-черная дорога, выплясывая по холмам, убегала к лесу. Сам лес пока холодный, лиловый, но там и сям краплен мокрыми семейками темных елей. Он скоро прогреется, наглухо затянется листвой, из его глубины поплывут уныло-нежные «ку-ку».

Нет, нет, не верит Родька, что все изменилось. Мало ли чего не случается дома. День-другой — и все пойдет опять так, как шло прежде. Надо немного потерпеть и побольше думать о другом, приятном...

На днях в клубе покажут новую кинокартину. Афиши уже расклеены — парень в красноармейской шапке, которые носили еще в старую войну, позади него дым и огонь от пожаров, скачут люди на лошадях с шашками. Это кино о Павке Корчагине. Родька знает, что про него написана целая книга. Васька Орехов зимой взял ее в библиотеке и дал Родьке на три дня. Разве за три дня успеешь про-

читать до конца, когда книга-то толще учебника! Сам-то Васька «Робинзона Крузо» целую неделю у себя держал. Родьке из-за него от библиотекарки попало... Мать всегда дает деньги на кино и теперь не откажет. Это у бабки пяточка не выпросишь...

Скоро экзамены. Каждый год после экзаменов в школе бывает вечер самодеятельности. К нему давно уже начали готовиться. Все село приходит смотреть. Юрка Грачев, из седьмого класса, играет на баяне. Венька Лупцов и Гришка Самохин покажут смешную пьеску, называется «Хирургия». Гришка дьячка играет, которому зуб рвут клещами. Он может насмешить, иной раз начнет рассказывать — хвататься за животики.

Родьке бы хотелось сыграть матроса, чтобы гранаты на поясе, винтовка на плечо, на голове бескозырка с ленточками. Но таких пьес что-то не отыскали... Зато он выучил стихотворение: «Смело, братья! Ветром полный парус мой направил я...» Стихотворение подходящее — о море, о буре... Конечно, на вечер придет председатель Иван Макарович, он моряк, ему понравится. Может, у Ивана Макаровича мичманку попросить на выступление? Выйти в матросской фуражке на сцену и прочитать: «Будет буря: мы поспорим и помужествуем с ней!» Только, наверное, мичманка-то Ивана Макаровича будет великовата для Родькиной головы...

Пусть дома икону обхаживают, наплевать на это. Он, Родька, как-нибудь перетерпит, будет меньше дома бывать, да и терпеть-то, наверное, придется не век. День-другой — глядишь, все утрясется, все пойдет по-прежнему.

Далеко, на другом конце луга, Родька увидел несколько маленьких фигурок. По канареечной желтой рубахе, ясным пятнышком горевшей средь

однообразно рыжей земли, он узнал Ваську Орехова. С ним, видно, и Пашка Горбунов и Венька Лупцов — вечная компания.

Не успев задуматься, что же они там затеяли, какое развлечение ждет его, Родька без дороги, ломая остатки прошлогоднего репейника, попадая ногами в расквашенную весенней водой дерновину, бросился бегом.

Ребята топтались на берегу залитого водой плоского овражка. Двое из них были без рубах, только Васька Орехов продолжал суетливо прыгать в своей яркой, канареечной. Ах, вот оно что — купаться надумали.

В реке вода еще мутная, неустоявшаяся, наверняка холодная до ломоты, сохранившая даже запах растаявшего снега, — купаться нельзя. Зато высыхающие луговые озерца, оставшиеся после половодья, уже пригреты солнцем.

— Э-э-эй! — закричал Родька. — Че-ерти! Меня обождите!

Длинный Пашка Горбунов стоял у самой воды, втянув голову в плечи, на окрик недовольно оглянулся. Венька Лупцов, выгнув смуглую гибкую спину, сидел на корточках возле одежды, поджидал бегущего Родьку с любопытством и удовольствием. На его чумазой физиономии выражалась надежда — может, Грачонок первым нырнет? Васька Орехов в своей канареечной рубахе, но без штанов смущенно стоял в стороне, похлопывал себя по лиловым коленкам.

Родька подбежал, бросил с размаху картуз на землю:

— Топчетесь? Небось, мурашки едят?

— Сам-то, поди, только с разгону храбрый, — ответил Венька.

— Эх!



Родька скинул пиджак, рывком через голову стащил рубаху, сел на землю, принялся с усилием снимать с ноги мокрый сапог.

— Эх, вы! Ушли и не сказались...

Но тут он заметил, что Пашка Горбунов, слепощурясь, сделал шаг от воды. Венька Лупцов, впившись в грудь Родьке черными, настороженно заблестевшими глазами, привстал у одежды. У Васьки же удивленно, кругло, глупо открылся рот.

Полустянутый сапог выскользнул из рук — только тут почувствовал Родька висящий на шее крест.

Первым опомнился Венька. Он насмешливо сощурился, показал мелкие, плотные, как горошины в стручке, зубы, спросил:

— Ты для храбрости повесил это или как?

От бросившейся в голову крови зашумело в ушах, перед затуманенными глазами по рыжему лугу поплыло расплывчатое пятно, желтое, под цвет Васькиной рубахи.

Родька не помнил, как вскочил на ноги. Ковыляя на полустянутом сапоге, он двинулся к Веньке. Васька Орехов, стоявший все еще с открытым ртом, взглянул в Родькино лицо, без штанов, в одной рубахе зайцем прыгнул в сторону. Родька увидел, как вытянулась подвижная Венькина физиономия, как в черных глазах заметалась какая-то искорка. Венька не успел подняться — Родька ударил его с размаху прямо в испуганные черные глаза.

— За что? — крикнул тот, падая на спину.

Родька шагнул, запнулся о полустянутый сапог, упал прямо на Веньку, вцепился в него.

Васька Орехов, не отрывая округлившихся глаз от дерущихся, принялся, путаясь и оступаясь, натягивать штаны. Пашка Горбунов бросился к ним,

стал хватать длинными цепкими руками за голые плечи.

— Сдурел, Родька, сдурел! Что он тебе сделал?

Вырвавшись из рук Пашки, Родька, не поднимая головы, как-то странно горбятся, подхватил с земли свой пиджак и рубаху и почти бегом, запинаясь о ненатянутый сапог, заковылял прочь.

Никто из ребят не стал его догонять. Стояли на берегу озера, глядели вслед. Венька Лупцов вытирал кулаком кровь под носом.

Шелковый шнурочек у медного крестика был прочен. Родька рвал его с остервенением, не чувствуя, как врезается он в шею. Наконец разорвал, бросил крест в сторону...

А утро началось для Родьки с удач.

Удача — его мать, вставшая, как всегда, рано и, должно быть, укрывшая одеялом разметавшегося сына, не заметила, что у него на шее нет креста.

Удача, что в сараюшке, где сидел подсвинок, провалился прогнившийся пол и бабка все утро возилась — выгребала навоз, прилаживала новую половицу. Ей было не до Родьки. И Родька перед завтраком не перекрестил лба.

На улице звонко лаяли собаки, на унавоженной дороге весело воевали воробьи, слышалось довольное карканье ворон, с окраины села, со стороны скотных дворов, где обшивали тесом новое здание сепараторки, доносился захлебывающийся свиреповосторженный вой циркульной пилы, распарывающей из конца в конец сосновое бревно.

Вчера вечером Родька считал, что произошло непоправимое — нельзя больше жить дома, нельзя ходить в школу. Вчера вечером твердо решил: сунуть в карман кусок хлеба, спрятать учебники

под крыльцо и... бежать из села. Сначала в Загарье, а там будет видно...

И вот он стоит, жмурится на солнце, слушает хвастливое кудахтанье соседской несущки — учебники в руке, ржаная горбушка оттопыривает карман — и чувствует, что не так уже все страшно: ну, бабка за потерянный крест поколотит — мало ли случилось от нее хватать плюх, — ну, ребята будут смеяться, да и то, пусть-ка попробуют. Стоит ли из-за пустяков бежать из дому, разве плохо ему жилось раньше?..

Родька решительно зашагал к школе.

Плевать на бабку, плевать на ребят, все образуется, все пойдет по-прежнему!

Но тут Родька увидел обтянутую линялой кофтой согнутую спину старой Жеребихи, ковыряющейся в ящике с капустной рассадой. А вдруг да она поднимет голову, заметит Родьку, остановит, запоет умильным голосом: «Ангелок... Божий избранник... Праведник». Услышат люди... Родька почувствовал неприятный холодок в груди, опустив голову, косясь на жеребихинский двор, торопливо двинулся дальше. И сейчас же заметил, что проходит мимо дома Ореховых. Может выскочить Васька... Родька прибавил шагу.

И, когда этот дом был позади, одна простая мысль заставила тоскливо сжаться сердце: зачем он бежал, зачем он старался спрятаться? Он идет в школу, а там, прячась не прячась, они все — Пашка Горбунов, Васька Орехов и Венька Лупцов — учатся в одном классе. Уж тут не вывернешься..

За что такое несчастье? Что он сделал плохого? Не воровал, не бил стекло в домах, не ругался худыми словами. За то, что нашел под берегом икону? Будь она проклята! Эх, знать бы наперед!..

Втянув голову в поднятые плечи, согнув спину, вялой походкой шел, ошеломленный не совсем еще понятным ему несчастьем Родька, двенадцатилетний мальчишка, которому приходится бояться людского осуждения.

— Гуляев!

Родька, как от удара, рывком обернулся. Тяжелой мужской поступью подходила Парасковья Петровна, учительница русского языка, Родькина классная руководительница.

— До уроков зайдем-ка в учительскую.

Минуту назад еще можно было решиться забросить книги, повернуть в сторону, бежать. Теперь поздно: рука Парасковьи Петровны легла на плечо.

От просторной учительской отделена перегородкой крошечная комнатка. В ней стоит горбатый диван, обтянутый блестящей черной клеенкой. Эту комнату называют кабинетом директора, но она часто служит и для других целей. На протяжении многих лет тут давались крутые выговоры провинившимся ученикам, совершались длительные увещания, разбирались дела, которые по тем или иным причинам не следовало выносить на широкое обсуждение. В этот-то кабинет, поеживаясь в нервном ознобе, вошел Родька и уселся на вздутый диван, сразу ощутив сквозь штаны казенный холодок черной клеенки.

Парасковья Петровна подперла щеку кулаком:

— Опять рукам волю даешь? За что Лупцова ударил?

Родька не ответил, сидел прямо, с усилием упираясь руками в диван, боясь пошевелиться, чтоб не съехать вниз по гладкой клеенке.

— Молчишь? А ведь я знаю, из-за чего ударил. Родька перестал на секунду дышать, остановил взгляд на толстой ножке стола, точеной, как крылечная балясина: сейчас заговорит о кресте.

— Из-за трусости своей ты ударил. Испугался, что товарищи узнают, что, быть может, до Парасковьи Петровны дойдет? Так?.. Обидно мне, братец.

Родька с недоумением поднял глаза.

— Удивляешься? И удивляться нечего: обидно мне, что мои ученики боятся ко мне прийти и рассказать все. Ведь, наверно, нелегко было?

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Это бабка тебе то украшение надела?

— Они меня в школу не пускали, — наконец выдал из себя Родька.

— Значит, и мать тоже?

— Тоже...

Парасковья Петровна поднялась, тяжело опуская на пол сапоги, прошла из угла в угол.

Родька же, следивший за ней исподлобья, видел только одно: Парасковья Петровна сердится, но, кажется, не на него, Родьку.

— Креститься заставляли? — спросила Парасковья Петровна.

— Заставляли.

— А ты не хотел?

— Не хотел... За стол не пускали.

— Так.

Снова несколько тяжелых шагов из одного угла в другой.

— Ладно, Родя, уладим. Я поговорю с твоей матерью. Сегодня же... Вот два урока проведу и схожу к вам.

Подошла вплотную, взъерошила ладонью сухие, упрямые волосы на Родькиной голове.

— Все уладим. Только, братец, больше кулаки не распускай. С Лупцовым надо помириться. Вот мы его сейчас сюда вызовем.

Через пять минут в дверь бочком вошел Венька Лупцов, сразу же отвернулся от Родьки. Нос у него распухший, красный, выражение лица оскорбленно-постное.

— Гуляев хочет извиниться перед тобой, — объявила Парасковья Петровна. — Подайте друг другу руки, и забудем это некрасивое дело... Ну, что, Родион, сидишь? Встань... Быстро, быстро, сейчас звонок подадут...

Венька и Родька вместе вышли из учительской. В коридоре по пути к своему классу, пряча глаза друг от друга, накоротке переругнулись.

— Зараза ты! Драться полез! Чего я тебе сделал?

— А ты ябедничать сразу! Мне Федька Сомов, помнишь, как съездил! Я ни словечка никому не сказал.

— И я бы не говорил, да нос шибко распух. Парасковья Петровна сама дозналась...

Такая перебранка только укрепляла примирение.

